

ПОТАНИНСКИЕ ЧТЕНИЯ

УДК 882.09.091 (571/5)

А.П. Казаркин

ГЕОРГИЙ ГРЕБЕНЩИКОВ И ОБЛАСТНИЧЕСТВО

Крупнейший сибирский прозаик первой половины XX в. Георгий Гребенщиков оставался последователем областнической доктрины в течение 40 лет жизни в США и продолжил идеи Г.Н. Потанина в книге «Моя Сибирь».

Своим литературным лидерством в 1900–10-е гг. Томск был обязан публицистике областников, в первую очередь Г.Н. Потанину. В эту пору, когда завершалось программное самоопределение сибирской литературы, зазвучал голос Г.Д. Гребенщикова. Первый импульс к созданию его главного произведения, романа-хроник о старообрядческой семье, появился у него после бесед с Потаниным. Надо понять, в какой мере повлияли областники на становление Гребенщикова и на замысел самого крупного произведения сибирской прозы первой половины XX в. Оригинальное начало в романе – не столько изображение быта староверов, сколько контраст изоляционизма и нивелировки культуры.

Самоизоляция от Центра – исходная посылка областничества. Пример радикальной изоляции давали сибирские староверы, на них пионеры областничества сразу обратили внимание. Интерес областников к кержакам связан с их русоизмом, ожиданием неевропейского пути. Говоря о «централистском характере русской культуры», сторонники сибирской самобытности имели в виду имперский путь, программа «культурной децентрализации» означала не провинциализм, а смещение центра с запада на восток.

Поиск региональной идентичности начинался с вопроса о самобытной сибирской культуре. Нужна была волна демократических упований 60-х гг. XIX в., чтобы слово «колонизация» зазвучало в прессе. К последствиям колонизации Г.Н. Потанин относил уничтожение не только культуры аборигенов, но и традиций русских старожилов Сибири. Этнографические темы занимали важное место в областнических изданиях, даже доминировали в периодике начала XX в. («Сибирь», «Сибирская газета», «Сибирская жизнь», «Сибирский студент»).

Осенью 1909 г. Гребенщиков, автор сборника рассказов, выпущенного в глухом Семипалатинске, поселился в Томске, стал сотрудником «Сибирской жизни» и ответственным секретарем «Молодой Сибири», а позднее членом редколлегии другого журнала – «Сибирская Новь». Это была литературная среда, нужная начинающему писателю больше, чем университет. Переехав в тогдашнюю литературную столицу Сибири, самоучка должен был выбрать дальнейший путь: стоит ли писать дальше. Эти колебания и толкнули его в Ясную Поляну: самое веское слово – толстовское. Позднее в автобиографии прозаик так определил свою позицию: «...разрушить пагубный пессимизм российской литературы, которая, по моему глубокому убеждению, накликала на нашу общую судьбу множество совершенно ненужных несчастий». Потанин подталкивал его на путь науки, считал образование делом наживным, были бы правильные ориентиры и талант.

По его рекомендации Гребенщиков стал членом общества изучения Сибири и в 1910 г. отправился в Гор-

ный Алтай, а по возвращении прочитал доклад в Технологическом институте. В 1911 г. – второе путешествие, результат которого – очерк «Река Уба и убинские люди». Ему удалось добыть превосходный этнографический материал – утварь и одежду старообрядцев. Продолжением темы был очерк «Алтайская Русь», им открывается «Алтайский альманах», который Гребенщikovу удалось издать в Петербурге в 1914 г., когда он уже редактировал солидную газету. На должность редактора «Жизни Алтая» рекомендовал его, конечно же, Потанин. Многих удивил этот выбор: ведь Гребенщиков не имел даже законченного начального образования. А причина очевидна: областническая тенденция.

Успехи ученика Потанин явно преувеличивал: «...доклад г. Гребенщикова – в своем роде открытие Америки»; «...в лице г. Гребенщикова Сибирь приобретает ловкого наблюдателя над крестьянской жизнью, обещающего со временем увеличить свою способность наблюдать эту жизнь» [1].

Статья молодого писателя «Дедушка-товарищ (К 75-летию Г.Н. Потанина)» интересна не только как ранний вариант очерка «Большой сибирский дедушка», – в ней Гребенщиков зафиксировал, как Потанин «выразил свой общий взгляд на поэта вообще. Поэт – чистое и нежное дитя, ликующее и поющее вокруг нарядной елки, а елка эта – природа, мир со всеми сверкающими побрякушками» [2]. Такой эстетический минимализм близок позднему Толстому.

Начинающий писатель, только что побывавший в Ясной Поляне, сравнивает двух учителей-патриархов: «В то время, как аристократ Толстой в мятежных исканиях своих бессмертных образов и истины познал и хмель греха, и сладость света, когда он, будучи уже пророком и величавым мудрецом, на виду всего мира хотел и не мог уйти от соблазнов мира и, как скованный лев, метался в железной клетке мишурной роскоши, тщетно пытаясь опроститься, – скромный, никем не прославляемый, простой и неизменно кроткий, всегда нуждающийся сибиряк шел прямо по своей демократической и тернистой дороге к единой светлой истине – ко благу своей родины. <...> Не мудрено потому, что для сибиряков Потанин то же, что Толстой для всех обремененных духовной жаждой и скорбью людей мира. Наши скорби более реальны, более просты, но и для разрешения их нам нужен добрый и авторитетный друг. Этим другом для Сибири и являлся всегда Григорий Николаевич, как Толстой был другом всего мира» [3]. Поездку в Ясную Поляну в марте 1909 г. начинающий писатель считал важнейшим событием своей молодости и опубликовал две статьи о встрече с Толстым – в газете «Сибирское слово» и в журнале «Сибирский студент». Затем уже в эмиграции, в 1925 г., он вернулся к этой теме, напечатав статью «У Льва Толстого». «Интеллигент-калмык, литератор, возвращающийся к земле» – так записал Толстой 20 марта 1909 г. в дневнике.

В позднейших статьях Г.Д. Гребенщикова, посвященных Л.Н. Толстому, – «Памяти Великого» («Сибирский студент», 1915, № 3–4), «У Льва Толстого» (1925, перепечатана в журнале «Вопросы литературы», 1984, № 2) – критических замечаний нет, а в книге «Моя Сибирь» мы вновь встречаем противопоставление учителей: «Недаром Потанина многие большие люди считали совестью Сибири, как считали совестью России Льва Толстого. Но если Лев Толстой шел к своей славе через великие искушения мира сего, то Потанин в продолжение всей своей жизни был непреклонен перед искушениями. Потанин всегда предпочитал оставаться за кулисами своей великой скромности, и мало кто знал, что темперамент Ядринцева был только одной из деталей широких идей Потанина» [4].

Публицистика Г.Н. Потанина оказалась более приятательной для Гребенщикова, перевесила художественный гений Толстого, и это обрекало начинающего прозаика на путь этнографизма, бытописательства. Литературная программа раннего областничества не требовала опыта ни Гоголя, ни Достоевского, ни даже Тургенева. Возможно, это мыслилось как временное самоограничение: сибирской литературе надо было определиться, найти свои лейтмотивы, идейное ядро и только тогда обращаться к мировой литературе, иначе она обрекалась на повторения, могла стать лишь провинциальным псевдоморфозом.

Хронику встреч с Потаниным Гребенщиков изложил в 1920-е гг., уже в эмиграции: «Лишь значительно позже я стал догадываться, почему Григорий Николаевич относился ко мне с таким вниманием, то есть почти с отеческой заботливостью. Быть может, он уловил во мне ту первобытную нетронутость народной почвы, на которой лучше прорастают его семена. Я был моложе всех, я был настоящий выходец из простой среды и, по его мнению, мог вспыхнуть настоящим пламенем его идей. Когда я должен был читать первый свой доклад “Река Уба и убинские люди” (слабый намек на мотивы будущих “Чураевых”), он окружил меня таким вниманием, что одна из лучших зал Технологического института была переполнена избранными людьми <...> И, наконец, когда вышли первые мои книги сибирских рассказов, я получаю в Петербурге письмо от Г.Н. Потанина, из которого отчетливо помню очень взволновавшие и смутившие меня строки: “Знамя Ядринцева лежит неподнятым, и я думаю, вы должны его поднять и понести в будущее”» [5]. Однако литературное знамя Потанина – Ядринцева обрекало на побочный путь народнического натурализма, на традиционализм, в лучшем случае на повторение П. Мельникова-Печерского.

Сомнения нет, Гребенщиков начинал и долгое время оставался учеником Потанина. В цикле «Письма к друзьям» (1912–1913) он говорит о путешествии из Сибири в Петербург, о противоположности провинции и Центра, что типично для областников. Цикл статей «Старина русского Алтая» и очерк «Алтайская Русь» – это первые подступы к роману «Чураевы». О работе над ним писатель сообщил в 1916 г. в письме Потанину: «“Чураевы” символизировать должны и “чур меня” и “чурка”, но чурка крепкая, кондовая, остаток крепких кедров Сибири» [6]. Позднее, в 1920-е гг., про-

заик составил план двенадцатитомного романа-хроники, в котором Сибирь переходила от полусонной жизни к ожесточению гражданской войны. Первый номер журнала «Сибирский студент» начинается передовой статьей, вероятнее всего, написанной Гребенщиковым (мотивы ее повторены в его последующих работах), и в ней говорится о «великой миссии», завещанной старшим поколением патриотов Сибири: «...разработка научных знаний в области этнографии, географии, естествознания, экономики окраины и проч.» [7]. Собственно, художественной программы здесь все еще нет.

Прежде всего писатели потанинского круга столкнулись с проблемой героя. Их наставник давно заметил: «Роман из жизни интеллигентных людей в Сибири не имеет до настоящего времени необходимой для него почвы <...> попытки создать его неизбежно будут неудачны» («Роман и рассказ в Сибири», 1875). Это раздумье о романе воспитания, с которого могла начаться оригинальная литература Сибири.

Путь образованного сибиряка был особенным испытанием, возвращение блудного сына означало выбор: вернуться в глухомань или жить в центре культуры. Получив образование в столице, герой едет жить в родные каторжные места. Зачем? На сибирской почве вечный мотив давал нетипичный сюжет: в XIX в. интеллигенция в Сибири была ссыльная. Роман Г.Н. Потанин понимал как цепь натуралистических очерков со сквозным героем-рассказчиком. Но он был убежден, что региональная мысль наиболее полно выразится в многогеройной хронике. В 1910-е гг. сибирская проза, уже имевшая свои идейные предпосылки (публицистику), созрела для создания областной эпопеи. Два наиболее крупных произведения – «Беловодье» А. Новоселова и «Чураевы» Г. Гребенщикова – посвящены старообрядцам.

В очерках Гребенщикова староверы привлекают физической силой и стойкостью, быт их не лишен красоты: «Этих людей не легко было превратить в безропотных и безразличных рабов»; «Это не просто крестьяне, это богатые, умные и умеющие сохранять свое достоинство бояре». Вместе с тем в письме Потанину Гребенщиков отметил, насколько он далек от религиозного традиционализма: «... бухтарминцы интересуют меня больше как люди и менее как староверы».

С таким отчужденным взглядом вернулся на родину из Москвы Василий Чураев. Этот вечный путник, искатель истинной веры вносит в сюжет динамическое начало. Сюжетная функция Василия в первом томе хроники связана с мотивом отступничества, отчуждения от отцовского уклада. Староверу даже в голову не придет рассуждать об «истинном Боге»: это занятие людей «шатучих». Старшие областники были религиозно индифферентны, игнорировали основу культуры староверов – напряженное чувство греха и близости «конца света». Кержаки воспринимались как реликт, осколок Древней Руси, в котором, с точки зрения интеллигента, сохранился деспотизм традиции. Гребенщиков же, предки которого по матери были старообрядцами, мог ощутить чувство вины, комплексы блудного сына. Он здесь связан чувством разрыва с народным миропониманием.

Василий Чураев (другое я автора) проходит путь искушений и испытывает жажду возврата домой. Цикл

«Гонец. Письма с Помпеяга» также пронизан мотивом возвращения блудного сына. В эссе Потанина «Блудный сын» (1878) героя-рассказчика можно принять за автопортрет, если не замечать авторской иронии, вообще-то мало свойственной сибирскому просветителю: «Много совершила своих правильных оборотов крестьянская жизнь, пока я был в отсуствии. За все это время я ни разу серьезно не вспомнил о своей родине, я был развлечен разнообразной постоянно новой жизнью, окружавшей меня. Я много видел и много слышал: я видел много чудес человеческого искусства, роскошные дворцы, столичные улицы, гранитные набережные; я видел знаменитый шерстяной ковер, производящий, говорят, в особенности очаровательное действие, когда смотришь на его яркие цветы и зелень с террасы...». В родные края этот герой приехал туристом: «Я чувствовал, что я стою над трупом моего детства, что я потоптал всё в жизни, что было мне дорого, и у меня не осталось более ничего ценного» [7]. Посещение малой родины осталось эпизодом в его жизни. Через четыре поколения В. Астафьев и В. Распутин будут варьировать этот мотив для создания типа антигероя.

Об интересе Г.Д. Гребенщикова к алтайским староверам и о влиянии Г.Н. Потанина уже писала Т.Г. Черняева. Она считает, что «занятия Гребенщикова этнографией старообрядцев находились целиком в русле областнических тенденций...» [9]. Действительно, Гребенщиков предпринял две поездки на юго-западный Алтай по рекомендации Потанина, но любовь его к «каменщикам» нельзя считать книжно-научной, чисто этнографической, ее можно назвать родовой: по отцу предки его – алтайцы, по матери – казаки и крестьяне-староверы. Повести и рассказы «Болекей улыген», «Ханство Батырбека», «На Иртыше», «Степные вороны», «Кызыл-тас» изображают крайне важный для Сибири процесс – аккультурацию. Еще в томский период жизни писатель создал повести и рассказы с трагическими развязками, заставлявшие квалифицировать его как жестокий талант.

Очерк «На склоне дней его» Гребенщиков закончил в покаянном тоне: «Но, видимо, я не оправдал надежд любимейшего своего учителя. Ни Горький не заразил меня "безумством храбрых", ни Лев Толстой, одобрявший во мне призыв сынов народа обратно на работу на земле, и ни Г.Н. Потанин, надеявшийся, что я подниму Ядринцевское, то есть его, Потанинское, знамя, – никто не сделает из меня своего честного последователя» (Вольная Сибирь. 1926. № 1).

Здесь Гребенщиков умолчал о «ериховском знамени», которое он подхватил в ту пору. Поиски религиозно-философского завершения огромного романа толкнули его к теософии. Но преодоление «чураевщины» на путях «ериховщины», восточного внехристианского синтеза, осталось открытым вопросом. Несовместимость потанинского пафоса (регионализма) и ериховского глобализма очевидна.

Гребенщикову это стало понятно далеко не сразу, какое-то время он был популяризатором идей Н. Рериха. Взяв на себя миссию гонца, он рано или поздно должен был задаться вопросом: а чей же он гонец? В Париже среди эмигрантов он был гонцом Сибири, в Америке – гонцом России, для круга Рериха – гонцом Алтая. Думается, увлечение теософией было для Гре-

бенщикова зигзагом в пути. В последнее десятилетие жизни над романом он не работал, писал автобиографическую повесть «Егоркина жизнь». Хотя по материалу она автобиографична, это не исповедь готовящегося к смерти христианина, скорее, уж это исповедь сибирского крестьянина. Ни малейшего веяния оккультизма здесь нет. Если «Чураевы» и «Былина о Микуле Буяновиче» говорят о постепенном отходе от потанинской программы, то «Егоркина жизнь» – скорее, о возвращении к ее исходным положениям.

Возможно, работу над романом прозаик забросил потому, что теософия увела его от «почвы», завела в неразрешимые противоречия. Вполне возможно, что крестьянская «закваска» отторгла беспочвенность теософского уклона. Впрочем, в отличие от публицистики «Писем с Помпеяга» выявить в структуре романа прямое влияние Рериха довольно сложно. Оно сказалось, пожалуй, лишь в названиях некоторых написанных частей («Веления земли», «Лобзание змия»), и особенно последних, задуманных, но не осуществленных: «Идите львами», «Построение храма». Похоже также, он не нашел модели сюжетного завершения романа-реки: исчерпанность коллизии означала бы разрешение не только российского, но и глобального кризиса.

Отвергнув полную закрытость старообрядцев, Василий Чураев не нашел и «всемирного братства», а осознание апокалиптического уклона цивилизации возвращает его на путь традиционализма. Так, в его исканиях открылась правда староверов, опиравшихся на отцов Церкви. А это отдаляло автора и от атеиста Потанина, и от богоискателя Толстого.

Писатель остался традиционалистом: «Меня ни с какой стороны не соблазнила "новизна" выдвинутых революцией форм письма. Я становлюсь все более упрямым в смысле простоты изложения своих мыслей». Скептицизм критиков-эмигрантов на этот счет понятен: соединить в художественном целом византизм с оккультизмом (староверие с теософией) невероятно трудно. По-видимому, не сразу понял прозаик безмерную трудность завершения современного романа, основанного на мотиве возвращения блудного сына. Началась неизбежная для семейного романа мотивная перекличка с вершинным созданием этой жанровой разновидности – с «Братьями Карамазовыми».

Потанин скорее всего оценил бы это негативно. Алеша Карамазов, с которым связан в замысле мотив поисков истинной веры, не является центральным героем романа Достоевского. В центр он должен был выдвигаться в последующих частях. Василий, новый герой для сибирской прозы, но не для русской литературы в целом, проходит тот путь исканий, какой предстоял Алеше Карамазову. В первом томе романа Гребенщикова Василий остается второстепенным персонажем, не с ним, а с Викулом, впервые вырвавшимся из горной тайги в город, связана точка зрения, организующая повествование. На втором плане он и в тех частях хроники («Сто племен с единым», «Океан багряный»), в которых в центре грандиозные исторические события. По сравнению с романом Достоевского в «Чураевых» усилен мотив родового греха. За преступления отцов рассчитываются каторгой и Еремка-мясник, и Викул, и Василий. Областники вынесли эту тему вовне (грех им-

перии), сибиряки как бы чисты, поскольку сами страдают, превращая каторгу в родной край. Косвенно Гребенщиков подхватил славянофильский покаянный мотив: «Не говорите: то былое, то старина, то грех отцов...» (А. Хомяков).

Как продолжатель раздумий великих романистов Г.Д. Гребенщиков оказался отступником от потанинского завета. Роман его входит в контекст философской прозы, значит, не может квалифицироваться как только областнический. Сибирский роман с философствующим героем во время деятельности Потанина и Ядринцева не мог появиться. В контекст эмигрантской литературы роман «Чураевы» (в «Современных записках» первый том опубликован одновременно с «Хождением по мукам» А. Толстого) естественно вписался как раздумье о России в целом. В. Ходасевич заметил, что «национальность литературы создается ее языком и духом, а не территорией, на которой протекает ее жизнь, и не бытом, в ней отраженным», а самосознанием, взятой на себя миссией («Литература в изгнании»). Положение это расходится с областническим и евразийским пониманием искусства: нельзя игнорировать месторазвитие, влияние климата а также давних этнических и субэтнических традиций. Положение реалиста этнографической школы в эмиграции было безнадежным: бытописание предполагает любовь к народу, а поиски религиозно-нравственной основы упиралась в бессодержимость народной массы.

Г. Адамович, не слишком расположенный к сибиряку-эмигранту, считал, что его кержаки «чуть-чуть пейзажные»: «Есть идеализация в его книге, есть дыхание Григоровича. Это как бы последний вздох Григоровича в нашей литературе <...> Но некоторая подслащённость письма Гребенщикова не лишена прелести, в особенности после столь обычных теперь отклонений в противоположную сторону» [10]. Критик-эмигрант верно отметил: это «остаточное дыхание» народнической прозы, восходящей к «натуральной школе», но этнографизм Гребенщикова не связан с идеализацией народа. Напротив, прозаик дал немало сцен коллективной одержимости и зверства.

Согласимся с Г. Адамовичем: дух советской литературы и «весь новейший идеал революции – в антипочвенности». Антипочвенность стала обязательной, и авторы советских областных хроник – К. Седых, Е. Пермитин, С. Сартаков, А. Иванов, Г. Марков – героизируют братоубийство и геноцид. Хотя здесь есть элементы казенного советского романтизма, неизбежного в реализации прогресситской утопии, это всё этот же крайний традиционализм. Советская критика, нанесшая сокрушительный удар по областничеству, не смогла преодолеть мотив самоизоляции, прирожденный для сибирского самосознания. О консервативности сибирской словесности XX в. говорит невыраженность в ней модернизма. Этот провинциализм, характерный для всей литературной истории Сибири, внешне делает её «запоздалым эхом» европейской традиции. Но, может быть, здесь надо видеть конфликт «мирового города» и провинции, о чём говорил О. Шпенглер?

Он вывез в Америку то, чего не имели жившие в Сибири советские прозаики, – духовную почву родины. Советская сибирская проза начиналась как антите-

за областничеству. Руководя издательством «Алатас», Гребенщиков не упускал из виду мысль о будущем Сибири: «...проклятая страна изгнаний, каторги и стон скоро превратится в благословенную обитель, куда откроется паломничество со всех частей света – к плодам простых и вечных истин мудрейшего сына народа Григория Потанина». Книга «Моя Сибирь» (в ней мы находим эти слова) выросла из лекций, которые Гребенщиков читал в американских колледжах, но в главном это программа возрождения Сибири: «...возможности Сибири настолько велики, что наш европейский разум даже не подготовлен для того, чтобы вместить их в рамки общепринятых понятий об отношении между Западом и Востоком. Проще говоря, Сибирь – это такое географическое место на земном шаре, где должно возникнуть теснейшее культурное единение самых великих наций и где дружно протянут друг другу руки Восток и Запад» [4].

Сибирь здесь – центр мира, а не окраина. Так опознается исходная установка областничества: взгляд на историю не из Европы, а из Азии, превращение ретроспективной утопии в прогрессивную. Писатель опровергает обвинения областников в сепаратизме и заключает: «Таким образом, от Урала до Владивостока вся Сибирь – та же Россия, страна из ста племен. Как бы часто ни встречались люди с широкими лицами и раскосыми глазами, среди них все-таки будут преобладать и речь и быт российские» (С. 68).

Сорок лет писатель-традиционалист прожил в Америке в самоизоляции, никак не выполняя (в отличие, скажем, от Набокова) ее социальный заказ. Несомненно, жизнь среди американцев способствовала перемене взгляда на сибиряков: «Надо сказать правду, что большинство сибирского населения привыкло черпать из природы все в неограниченном масштабе, но совершенно не привыкло глядеть в будущее»; «Вообще русский народ, вопреки свойственной ему бродячей жизни и самобичеванию, обладает всеми качествами коллективного, строительного и распорядительного разума...».

Но далее автор отмечает, что русский быт «строится на грех кощунственно уживающихся между собой основах: церкви, кабаке и матерщине. Там, где вы увидите или услышите один из этих русских признаков, – это еще не означает русской оседлости, но там, где все три рядом, смело чувствуйте себя в России. На Сибирь возлагается миссия просветления и спасения заблудшего человечества»: «...как широко во всех областях может быть применена человеческая изобретательность и энергия». Лекции о значении Сибири для будущего мира («Сибирь – страна великого будущего») продолжают потанинскую тематику, новое здесь – религиозная проповедь («Преподобный Сергей Радонежский как учитель Русской земли»), а также «Рерих и Гималаи». Основные идеи книги «Гонец» также культуростроительные. Это учение о «простой и светлой правде», «первая начальная помощь человеку в духовном росте».

Как свидетельствуют материалы, опубликованные Н.Н. Аблажей [11], развитие областнической идеологии завершилось в русском зарубежье к середине XX в. К исходу столетия обнаружился новый контекст проблемы: регионализм как антитеза глобализма. Учитывая эти аспекты интерпретации, мы обнаружим в главном произведе-

дении Гребенщикова проблемно-мотивный слой субэтнический (областнический), национальной идентичности, богоскательский (Толстой и Рерих). Понять это можно только в поисках социокультурного контекста. В первую очередь сопоставить Гребенщикова надо, конечно, с В. Шишковым. Начинаясь вместе прозаики разошлись далеко: один стал лауреатом Сталинской премии, другой диктатуру красных так и не принял. Но шишковская «Ватага» и «Былина о Микуле Буяповиче» Гребенщикова имеют явные мотивные переклички. Зыков, дошедший до крайнего озверения партизанский командир и в равной степени атаман разбойничьей банды, погиб в Горном Алтае. И герой Гребенщикова Микулка, превратившийся в атамана Лихого, сгорел в огненной русской смуте, но возродился в образе старца-скитника, странника, ищущего храм. Нет ничего невероятного в том, что разделенные океаном прозаики, начинавшие одновременно как ученики Потанина, в чем-то одинаково видели причины ожесточения сибиряка в гражданской войне. Однако они были уже на расходящихся путях. Никакой героизации «окающих дней» у Гребенщикова нет. Семейный по сюжетной основе роман «Угрюм-река» В. Шишкова – сибирский лишь внешне-тематически: в основу положена фабульная схема «Дела Артамоновых» М. Горького (который, возможно, именно поэтому и оценил его резко негативно). Горький был явно необъективен, упрек в «областном национализме» прозвучит и в его отзыве об «Угрюм-реке» Шишкова.

Обращаясь к областникам, Гребенщиков употребляет местоимение «мы» и тем самым указывает на свою принадлежность к этому направлению: «Мы никогда не были сепаратистами в том дурном смысле, когда одно какое-либо племя думает, что оно может, отделившись, быть самостоятельным и сильным. Наш патриарх Сибири Г.Н. Потанин учил свободе самоуправления» («Приветствие сибирякам»). Лейтмотив же его раздумий о Сибири – вариация слов Потанина: «Русский народ заложил здесь новые основания для продолжения своей жизни»: «Мы помним, что Сибирь – это страна великих будущих возможностей. Там необозримое поле действий для многих грядущих поколений. Там впервые в человеческой истории сойдутся народы Востока и Запада не для ратных и враждебных действий, но для братского сотрудничества и для соединения великих, изумительных культур Азии и

Европы <...> Кто имеет в своем владении нечто лучшее и более ценное?...» («Я помню родимые горы»).

Пожалуй, Г. Гребенщиков – единственный крупный прозаик, следовавший и после революции литературным путем областников. Он печатался в пражской «Вольной Сибири», органе областников, переписываясь с земляками во всех концах земли. И в 1930-е гг. он остался самым верным «птеном» из всех, вылетевших из гнезда Потанина. Портрет учителя ему виделся на бело-зеленом фоне – на знамени автономной Сибири: «И когда я вспоминаю о Г.Н. Потанине теперь, я представляю его монументальной фигурой на широчайшем бело-зеленом сибирском фоне снега и тайги...» [5].

Почва традиционализма не позволила писателю далеко уйти от потанинского проекта. Но потанинская литературная программа была воплощена им лишь частично: по идейному и мотивному составу романы Гребенщикова полигенетичны. О консервативности сибирской словесности XX в. говорит невыраженность в ней модернизма. Этот провинциализм, характерный для всей литературной истории Сибири, внешне делает её «запоздалым эхом» европейской традиции. Но, может быть, здесь надо видеть конфликт «мирового города» и провинции, о чём говорил О. Шпенглер? Идея культурного полиморфизма объединяет Г. Потанина (равным образом и его ученика Гребенщикова) с Н. Данилевским, на которого опирались позднее евразийцы. «Широка и необъятна сибирская земля, – говорится в романе «Лобзание змия», – так широка и так необъятна, что не пришел еще певец, чтобы воспеть ее и изобразить ее величие». Место Гребенщикова в литературе Сибири бесспорно значительно: он впервые классически воплотил миропонимание сибиряка, взгляд на историю из Северной Азии. И все же потанинскую программу он выполнил лишь частично. «Чураевы», роман с многими сюжетными зигзагами и расплеснувшийся, как сибирская река, – это одна из вершин областной эпопеи. Классические образцы жанра – дилогия П. Мельникова-Печерского о поволжских староверах («В лесах» и «На горах») и романы М. Шолохова о Доне. Где-то между ними, скорее всего, и стоит семитомная семейная хроника «Чураевы». Дискуссия об этом романе еще впереди. Она может стать пусковым моментом нового самосознания Сибири.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Сибирская жизнь*. 1910. 26 ноября.
2. Статья «Дедушка-товарищ» опубликована в «Жизни Алтая» в 1915 г. В «Литературном наследстве Сибири» (Т. 7, Новосибирск, 1986) воспроизведена статья «Большой сибирский дедушка» (впервые – в «Ежемесячном журнале», 1915 № 9–10), более зрелая работа «На склоне дней его» оставалась неизвестной советскому читателю.
3. *Жизнь Алтая*. 1912. 14 февраля. № 34. *Вольная Сибирь*. Прага, 1926. № 1.
4. Гребенщиков Г.Д. *Моя Сибирь*. Барнаул, 2002. С. 50.
5. *Вольная Сибирь*. Прага, 1926. № 1.
6. *Письма Г.Д. Гребенщикова Г.Н. Потанину* // Красноречивые записки. Вып. 3. Барнаул, 1999. См. републикацию цикла «Письма к друзьям». Барнаул, 1995. № 4.
7. *Сибирский студент*. 1914. № 1.
8. *Сборник газеты «Сибирь»*. Иркутск, 1878. Т. 1.
9. Черняева Т.Г. Г.Д. Гребенщиков о старообрядцах Алтая // *Язык и культура Алтая: Сб. статей, посвященный памяти И.А. Воробьевой*. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2001. См.: *Яновский Н.Н. Георгий Гребенщиков в Сибири* // Гребенщиков Г.Д. *Чураевы*. Иркутск, 1981.
10. *Звено*. М., 1925.
11. *Аблажей Н.Н. Сибиричество в эмиграции*. Новосибирск, 2003.

Статья поступила в научную редакцию «Филология» 22 марта 2004 г.